

*Элизабет и Хельмуту Зусак
с любовью и восхищением*

ПРОЛОГ

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ИЗ БИТОГО КАМНЯ

где наш рассказчик представляет:
себя — краски — и книжную воришку

СМЕРТЬ И ШОКОЛАД

С начала краски.
Потом люди.

Так я обычно вижу мир.

Или, по крайней мере, пытаюсь.

*** * * ВОТ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ * * ***
Когда-нибудь вы умрете.

Ни капли не кривлю душой: я стараюсь подходить к этой теме легко, хотя большинство людей отказывается мне верить, сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверьте. Я еще *как* умею быть легким. Умею быть дружелюбным. Доброжелательным. Душевным. И это на одну букву Д. Вот только не просите меня быть милым. Это не ко мне.

*** * * РЕАКЦИЯ * * ***
НА ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЙ ФАКТ

Это вас беспокоит?

Призываю вас — не бойтесь.

Я всего лишь справедлив.

Ах да, представиться.

Для начала.

Где мои манеры?

Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне близко и довольно скоро — при всем разнообразии

вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я со всем радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша душа. На плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь.

В эту минуту вы будете где-то лежать (я редко застаю человека на ногах). Тело застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно, в воздухе разбрызгается крик. А после этого я услышу только одно — собственное дыхание и звук запаха, звук моих шагов.

Вопрос в том, какими красками будет все раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо?

Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного-темного шоколада. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, — всем спектром. Миллиард вкусов или около того, и нет двух одинаковых — и небо, которое я медленно впитываю. Все это сглаживает острые края моего времени. Помогает расслабиться.

*** * * НЕБОЛЬШАЯ ТЕОРИЯ * * ***

Люди замечают краски дня только при его рождении и угасании, но я отчетливо вижу, что всякий день с каждой проходящей секундой протекает сквозь мириады оттенков и интонаций.

Единственный час может состоять из тысяч разных красок.

Восковатые желтые, синие с облачными плевками.

Грязные сумраки. У меня такая работа, что я взял за правило их замечать.

На это я и намекаю: меня выручает одно умение — отвлекаться. Это спасает мой разум. И помогает управлять — учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить — вот в чем

вопрос. Кто займет мое место, пока я провожу отпуск в каком-нибудь из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или горнолыжной разновидности? Ответ ясен — никто, и это подвигло меня к сознательному и добровольному решению: отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. Отпуск в красках.

И все равно не исключено, что кто-то из вас может спросить: зачем ему вообще нужен отпуск? *От чего* ему нужно отвлекаться?

Это будет второй мой пункт.

Оставшиеся люди.

Выжившие.

Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях все-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых, но время от времени приходится замечать тех, кто остается, — раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца. Отбиты легкие.

Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам расскажу нынче вечером — или днем, или каков бы ни был час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся — о знатоке выживания.

Недлинная история, в которой, среди прочего, говорится:

- об одной девочке;
- о разных словах;
- об аккордеонисте;
- о разных фанатичных немцах;
- о еврейском драчуне;
- и о множестве краж.

С книжной воришкой я встречался три раза.

У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Сначала возникло что-то белое. Слепящей разновидности. Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дребедень: например, что белый — толком и не цвет никакой. Так вот, я пришел, чтобы сказать вам, что белый — это цвет. Без всяких сомнений цвет, и лично мне кажется, что спорить со мной вы не захотите.

*** * * ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ * * ***

**Пожалуйста, не волнуйтесь,
пусть я вам только что пригрозил.
Все это хвастовство — я не свирепый.
Я не злой.
Я — итог.**

Да, все белое.

Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег. Натянул его на себя, как натягивают свитер. У железнодорожного полотна — следы ног, утонувших по щиколотку. Деревья под ледяными одеялами.

Как вы могли догадаться, кто-то умер.

И его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это еще не такая беда, но скоро путь впереди восстановят, и поезду нужно будет ехать дальше. Там было двое кондукторов.

И мать с дочерью.

Один труп.

Мать, дочь и труп — упрямы и безмолвны.

— Ну чего ты еще от меня хочешь?

Один кондуктор был высокий, другой — низкий. Высокий всегда заговаривал первым, хоть и не был начальником. Теперь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того было мясистое красное лицо.

— Ну, — ответил он, — мы не можем их просто здесь бросить, правильно?

Терпение высокого кончалось.

— Почему нет?

Низкий разозлился как черт. Он уперся взглядом в подбородок высокого:

— Spinnst du? Ты дурной?

Омерзение сгущалось на его щеках. Кожа натянулась.

— Пошли, — сказал он, оступившись в снегу. — Отнесем обратно в вагон всех троих, если придется. Сообщим на следующую станцию.

А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу передать вам всю степень моего недовольства собой. Сначала я все делал правильно:

Изучил слепящее снежно-белое небо — оно стояло у окна движущегося вагона. Я прямо-таки *вдыхал* его, но все равно дал слабину. Я дрогнул — мне стало интересно. Девочка. Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержаться, насколько позволит мое расписание, — и понаблюдать.

Через двадцать три минуты, когда поезд остановился, я вылез из вагона за ними.

У меня на руках лежала маленькая душа.

Я стоял чуть справа от них.

Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери, девочке и трупiku мужского пола. Точно помню, в тот день дышал я шумно. Удивляюсь, как кондук-

Маркус Зусак

торы меня не слышали. Мир уже провисал под тяжестью всего этого снега.

Метрах в десяти слева от меня стояла и мерзла бледная девочка с пустым животом.

У нее дрожали губы.

Она сложила на груди озябшие руки.

А на лице книжной воришки замерзли слезы.

ЗАТМЕНИЕ

Следующий — черный закорючки, чтобы показать, если угодно, полюса моей многогранности. Был самый мрачный миг перед рассветом.

В этот раз я пришел за мужчиной лет двадцати четырех от роду. В каком-то смысле это было прекрасно. Самолет еще кашлял. Из обоих его легких сочился дым.

Разбиваясь, он взрезал землю тремя глубокими бороздами. Крылья были теперь словно отпиленные руки. Больше не взмахнут. Эта маленькая железная птица больше не полетит.

*** * * ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ * * ***

Иногда я прихожу раньше времени.

**Я тороплюсь, а иные люди цепляются
за жизнь дольше, чем ожидается.**

Совсем немного минут — и дым иссяк. Больше нечего отдавать.

Первым явился мальчик: сбивчивое дыхание, в руке — вроде бы чемоданчик с инструментами. Ужасно волнуясь, подошел к кабине и взгляделся в летчика — жив ли; тот еще был жив. Книжная воришка прибежала где-то через полминуты.

Прошли годы, но я узнал ее.

Она тяжело дышала.



Мальчик вынул из чемоданчика — что бы вы думали? — плюшевого мишку.

Просунув руку сквозь разбитое стекло, он положил мишку летчику на грудь. Улыбающийся медведь сидел, нахохлившись, в куче обломков человека и луже крови. Еще через несколько минут рискнул и я. Время пришло.

Я подошел, высвободил душу и бережно вынес из самолета.

Осталось лишь тело, тающий запах дыма и плюшевый медведь с улыбкой.

Когда собралась толпа, все, конечно, изменилось. Горизонт начал угольно сереть. От черноты вверху остались одни каракули — и те быстро исчезали.

Человек в сравнении с небом стал цвета кости. Кожа скелетного оттенка. Мятый комбинезон. Глаза у него были холодные и бурые, как пятна кофе, а наверху последняя загогулина превратилась во что-то для меня странное, однако узнаваемое. В закорючку.

Толпа занималась тем, чем занимается толпа.

Пока я пробирался в ней, каждый, кто стоял там, как-то подыгрывал этой тишине. Легкое сгущение несвязных движений рук, приглушенных фраз, безмолвных беспокойных оглядок.

Когда я обернулся на самолет, мне показалось, что летчик улыбается открытым ртом.

Грязная шутка под занавес.

Еще одна человеческая острота.

Человек лежал в пеленах комбинезона, а сереющий свет мерялся силой с небом. И как бывало уже много раз, стоило мне двинуться прочь, быстрая тень словно

бы набежала опять — последний миг затмения, признание того, что еще одна душа отлетела.

Знаете, в какой-то миг, несмотря на краски, что ложатся и цепляются на все, что я вижу в мире, я часто ловлю затмение, когда умирает человек.

Я видел миллионы затмений.

Я видел их столько, что лучше уж и не помнить.

ФЛАГ

Последний раз, когда я видел ее, был красным. Небо напоминало похлебку, размешанную и кипящую. В некоторых местах оно пригорело. В красноте мелькали черные крошки и катышки перца.

Раньше дети играли тут в классики — на улице, похожей на страницы в жирных пятнах. Когда я прибыл, еще слышалось эхо. По мостовой топали ноги. Смеялись детские голоса, присоленные улыбками, но разлагались быстро.

И вот — бомбы.

В этот раз все опоздало.

Сирены. Кукушка визжит по радио. Все опоздало.

За какие-то минуты выросли и взгромоздились холмы из бетона и земли. Улицы стали разорванными венами. Кровь бежала по дороге, пока не высыхала, а в ней увязали тела, как бревна после наводнения.

Приклеенные к земле, все до единого. Целая уйма душ.

Судьба ли это?

Невезение?

Оттого ли они все так приклеивались?

Конечно, нет.

Не глумите.

Наверное, дело скорее было в ударах бомб — их сбрасывали те люди, что прятались в облаках.

Да, небо теперь было опустошительной необъятно-красной домашней стряпней. Немецкий городок опять разметали на куски. Снежинки пепла кружили с такой *прелестностью*, что подмывало их ловить высунутым языком, пробовать на вкус. Но эти снежинки опалили бы губы. Сварили бы сам рот.

Так и стоит перед глазами.

Я уже собирался двинуться прочь, когда увидел ее на коленях.

Вокруг был написан, оформлен и возведен горный хребет из битого камня. Она цеплялась за книжку.

Помимо остального, книжной воришке отчаянно хотелось обратно в подвал — писат^ь или перечитать свою историю еще раз, последний. Вспоминая, я так отчетливо вижу это на ее лице. Ей до смерти туда хотелось — там надежно, там дом, — но она не могла пошевелиться. А еще и подвала-то больше не было. Он слился с искалеченным пейзажем.

И снова прошу вас — пожалуйста, поверьте.

Я хотел задержаться. Наклониться.

Я хотел сказать:

«Прости, малышка».

Но такое не позволяется.

Я не наклонился. Не заговорил.

Я просто еще немного поглядел на нее. И когда она смогла двинуться с места, пошел за нею.

Она уронила книгу.

Упала на колени.

Книжная воришка завывала.

Когда началась расчистка, на ее книгу несколько раз наступили, и хотя команда была расчищать только

бетонную кашу, самую драгоценную вещь девочки закинули в грузовик с мусором, и тут я не удержался. Залез в кузов и взял ее в руки, вовсе не догадываясь, что оставлю ее себе и буду смотреть на нее много тысяч раз за все эти годы. Буду рассматривать места, где мы пересекаемся, изумляться тому, что видела эта девочка и как она выжила. Лучше я сделать все равно ничего не смогу — тут можно лишь смотреть, как все встраивается в общую картину того, что я тогда видел.

Когда я ее вспоминаю, то вижу длинный список красок, но сильнее всего отзываются те три, в которых я видел ее во плоти. Бывает, мне удается воспарить высоко над теми тремя мгновениями. Я зависаю на месте, а гниlostная истина кровит, пока не приходит ясность.

Вот тогда я и вижу, как они встают в формулу.

* * * КРАСКИ * * *

БЕЛАЯ:  ЧЕРНАЯ:  КРАСНАЯ: 

Они накладываются друг на друга. Черная небрежной закорючки на белую слепящего земного шара и на густую похлебочную красную.

Да, часто я вынужден вспоминать ее, и в одном из бесчисленных своих карманов я носил ее историю — чтобы пересказать. Это одна из небольшого множества историй, которые я ношу с собой, и каждая сама по себе исключительна. Каждая — попытка, да еще какая попытка — доказать мне, что вы и ваше человеческое существование чего-то стоите.

Вот эта история. Одна из горсти.

Книжная воршишка.

Если есть настроение, пошли со мной. Я расскажу вам ее.

Я кое-что вам покажу.

ЧАСТЬ I

«НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ»

с участием:

химмель-штрассе — искусства свинюшества —
женщины с уютным кулаком —
попытки поцелуя — джесси оуэнза —
наждачки — запаха дружбы — чемпиона
в тяжелом весе — и всем трепкам трепки

ПРИБЫТИЕ НА ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ

Последний раз.
То красное небо...

Отчего вышло так, что книжная воришка стояла на коленях и выла рядом с рукотворной грудой нелепого, засаленного, кем-то состряпанного битого камня?

Много лет назад началось снегом.

Пробил час. Для кого-то.

*** * * ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ТРАГИЧЕСКИЙ МИГ * * ***

Поезд шел быстро.

Он был набит людьми.

В третьем вагоне умер шестилетний мальчик.

Книжная воришка и ее брат ехали в Мюнхен, где их скоро должны передать приемным родителям. Теперь мы, конечно, знаем, что мальчик не доехал.

*** * * КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ * * ***

Внезапный порыв сильного кашля.

Почти вдохновенный порыв.

А за ним — ничего.

Когда прекратился кашель, не осталось ничего, кроме ничтожества жизни, что, шаркая, скользнула прочь, или почти беззвучной судороги. Тогда внезапность про-

бралась к его губам — они были ржаво-бурого цвета и шелушились, как старая покраска. Нужно срочно перекрашивать.

Их мать спала.

Я вошел в поезд.

Мои ноги ступили в загроможденный проход, и в один миг моя ладонь легла на губы мальчика.

Никто не заметил.

Поезд несся вперед.

Кроме девочки.

Одним глазом глядя, а другим еще видя сон, книжная воришка — она же Лизель Мемингер — без вопросов поняла, что младший брат Вернер лежит на боку и мертвый.

Его синие глаза смотрели в пол.

И не видели ничего.

Перед пробуждением книжная воришка видела сон о фюрере — Адольфе Гитлере. Во сне она была на митинге, где выступал фюрер, смотрела на его пробор цвета черепа и на идеальный квадратик усов. И с удовольствием слушала бурный поток слов, изливавшийся из его рта. Его фразы сияли на свету. В спокойный момент фюрер взял и наклонился — и улыбнулся ей. Она ответила ему улыбкой и сказала: «Guten Tag, Herr Führer. Wie geht's dir heut?» Она так и не научилась красиво говорить и даже читать, потому что в школу она ходила редко. Причину этому она узнает в свое время.

И едва фюрер собрался ответить, она проснулась.

Шел январь 1939 года. Ей было девять лет, скоро исполнится десять.

У нее умер брат.

Один глаз открыт.

Один еще во сне.

Наверное, лучше бы она совсем спала, но на такое я, по правде, влиять не могу.

Сон слетел со второго глаза, и она меня застигла, тут нет сомнений. Как раз когда я встал на колени, вынул душу мальчика и она обмякла в моих распухших руках. Дух мальчика быстро согрелся, но в тот миг, когда я подобрал его, он был вялым и холодным, как мороженое. Начал таять у меня на руках. А потом стал согреваться и согрелся. И выздоровел.

А у Лизель Мемингер остались только запертая скованность движений и пьяный наскок мыслей. *Es stimmt nicht*. Это не на самом деле. Это не на самом деле.

И встряхнуть.

Почему они всегда их трясут?

Да, знаю, знаю — я допускаю, что это как-то связано с инстинктами. Запрудить течение истины. Сердце девочки в ту минуту было скользким и горячим, и громким, таким громким, громким.

Я сглушил — задержался. Посмотреть.

И теперь мать.

Лизель разбудила ее такой же очумелой тряской.

Если вам трудно представить это, вообразите неловкое молчание. Вообразите отчаяние, плывущее кусками и опметками. Это как тонуть в поезде.

Стойко сыпал снег, и мюнхенский поезд остановили из-за работ на поврежденном пути. В поезде была женщина. Рядом с ней в оцепенении застыла девочка.

В панике мать распахнула дверь.

Держа на руках трупик, она выбралась на снег.

Что оставалось девочке? Только идти следом.

Как вам уже сообщили, из поезда вышли и два кондуктора. Они решали, что делать, и спорили. Положение

неприятное, чтобы не сказать больше. Наконец постановили, что всех троих нужно довести до следующей станции и там оставить, пусть сами разбираются.

Теперь поезд хромал по заснеженной местности.

Вот он остутился и замер.

Они вышли на перрон, тело — на руках у матери.

Встали.

Мальчик начал тяжелеть.

Лизель не имела понятия, где оказалась. Кругом все бело, и пока они ждали, ей оставалось только разглядывать выцветшие буквы на табличке. Для Лизель станция была безымянной, здесь-то через два дня и похоронили ее брата Вернера. Присутствовали священник и два закоченевших могильщика.

*** * * НАБЛЮДЕНИЕ * * ***

Пара кондукторов.

Пара могильщиков.

Когда доходило до дела, один отдавал приказы.

Другой делал, что ему говорили.

**И вот в чем вопрос: что, если *другой* —
гораздо больше, чем один?**

Промахи, промахи — иногда я, кажется, только на них и способен.

Два дня я занимался своими делами. Как всегда, мотался по всему земному шару, поднося души на конвейер вечности. Видел, как они безвольно катятся прочь. Несколько раз я предостерегал себя: нужно держаться подальше от похорон брата Лизель Мемингер. Но не внял своему совету.

Приближаясь, я еще издали разглядел кучку людей, стлыо торчавших посреди снежной пустыни. Клад-

бище приветствовало меня как старого друга, и скоро я уже был с ними. Стоял, склонив голову.

Слева от Лизель два могильщика терли руки и ныли про снег и неудобства рытья в такую погоду.

— Такая тяжесть врубаться в эту мерзлоту... — И так далее.

Одному было никак не больше четырнадцати. Подмастерье. Когда он уходил, из кармана его тужурки невинно выпала какая-то черная книжка, а он не заметил. Успел отойти, может, шагов на двадцать.

Еще несколько минут, и мать пошла оттуда со священником. Она благодарила его за службу.

Девочка же осталась.

Земля подалась под коленями. Настал ее час.

Все еще не веря, она принялась копать. Не может быть, что он умер. Не может быть, что он умер. Не может...

Почти сразу же снег вгрызся в ее кожу.

Замерзшая кровь трескалась у нее на руках.

Где-то среди всего снега Лизель видела свое разорванное сердце, две его половинки. Каждая рдела и билась в этой белизне. Лишь ощутив на плече костлявую руку, девочка поняла, что за ней вернулась мать. Девочку оттаскивали куда-то волоком. Теплый вопль наполнил ее горло.

*** * * КАРТИНКА, МЕТРАХ * * ***

В ДВАДЦАТИ

Волок завершился,

мать и дочь остановились отдышаться.

**В снегу торчал какой-то черный
прямоугольник.**

Его увидела только девочка.

Нагнулась и подняла

его и крепко зажала в пальцах.

На книге были серебряные буквы.

Они держались за руки.

Отпустили последнее, насквозь вымокшее «прости», повернулись и ушли с кладбища, еще несколько раз оглянувшись.

Я же задержался еще на несколько секунд.

И помахал.

Никто не махнул мне в ответ.

Мать и дочь покинули кладбище и отправились к следующему мюнхенскому поезду.

Обе худые и бледные.

У обеих на губах язвы.

Лизель заметила это в грязном запотевшем стекле вагона, когда незадолго до полудня они сели в поезд. По словам, написанным самой книжной воришкой, путешествие продолжалось, будто *все* уже произошло.

Поезд прибыл на мюнхенский вокзал, и пассажиры заскользили наружу, будто из порванного пакета. Там были люди всех сословий, но бедные узнавались быстрее прочих. Обездоленные стараются всегда быть в движении, словно перемена мест может чем-то помочь. Не понимают, что в конце пути их будет ждать старая беда в новом обличье — родственник, целовать которого претит.

Полагаю, мать вполне это сознавала. Своих детей она везла не в высшие слои мюнхенского общества, но, видимо, приемную семью уже нашли, и новые родители, по крайней мере, могли хотя бы кормить девочку и мальчика получше и нормально выучить.

Мальчика.

Лизель не сомневалась, что память о нем мать несет, взвалив на плечи. Вот она его уронила. Его ступни, ноги, тело шлепнулись на платформу.

Как эта женщина могла ходить?

Как вообще могла двигаться?

Мне этого никогда не узнать и не понять до конца: на что способны люди.

Мать подняла его и пошла дальше, а девочка съехала у нее под боком.

Состоялась встреча с чиновниками, свои ранимые головы подняли вопросы об опоздании и о мальчике. Лизель выглядывала из угла тесного пыльного кабинета, а мать ее, сцепив мысли, сидела на самом жестком стуле.

Потом — суматоха прощания.

Прощание вышло слюнявым, девочка зарывалась головой в шерстяные изношенные плёсы маминого пальто. И опять куда-то волоком.

Далеко за окраиной Мюнхена был городок под названием *Molching* — таким, как мы с вами, правильнее всего произносить его как *Молькинг*. Туда и повезли девочку — на улицу под названием Химмель-штрассе.

*** * * ПЕРЕВОД * * ***

Himmel = Небеса

Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была суцая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.

Как бы там ни было, Лизель ждали новые родители. Хуберманы.

Они ожидали девочку и мальчика, и на этих детей им должны были выделить небольшое пособие. Никто не хотел оказаться тем вестником, которому придется сообщить Розе Хуберман, что мальчик поездки не пережил. Сказать по правде, Розе никто вообще ничего не хотел говорить. В том, что касается характеров, Розе достался не самый ангельский, хотя у нее имелись успе-

хи в воспитании приемных детей. Нескольких она явно перевоспитала.

Для Лизель это была поездка на машине.

Прежде на машине она не ездила ни разу.

Желудок ее непрерывно подскакивал и проваливался, к тому же трепетала тщетная надежда, что они заблудятся или передумают. А помимо прочего она не могла не возвращаться мыслями к матери, которая осталась на вокзале, собираясь уехать снова. Дрожит. Кутается в свое бесполезное пальто. Дожидаясь поезда, она будет грызть ногти. Перрон длинный и неудобный — ломоть холодного цемента. Будет ли она высматривать на обратном пути в том районе место, где похоронен ее сын? Или навалится слишком крепкий сон?

Машина катила дальше, и Лизель в ней с ужасом ждала последнего, смертельного поворота.

День стоял серый — цвета Европы.

Вокруг машины задвинули шторы дождя.

— Почти приехали. — Фрау Генрих, дама из государственной опеки, обернулась к девочке и улыбнулась. — Dein neues Heim. Твой новый дом.

Лизель протерла кружок на слезящемся окне и выглянула.

*** * * ФОТОСНИМОК ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ * * ***

Дома будто склеены между собой,
большей частью крохотные коттеджи
и длинные жилые блоки — эти, похоже, нервничают.
Замусоленный снег стелется ковром.
Бетон, голые деревья — вешалки для шляп —
и серый воздух.

С ними ехал еще один мужчина. Он остался с девочкой, когда фрау Генрих скрылась в доме. Ни разу не заговорил. Лизель решила: его приставили, чтоб она не

сбежала или чтобы затащить ее внутрь, если она вдруг заупрямится. Но при этом, когда позже она таки заупрямилась, мужчина просто сидел и смотрел. Может, был крайним средством, окончательным решением.

Через несколько минут вышел очень высокий человек. Ганс Хуберман, приемный отец Лизель. Рядом с одной стороны шла фрау Генрих, среднего роста. С другой виделся приземистый силуэт Розы Хуберман, которая напоминала комод в заброшенном сверху пальто. На ходу она заметно переваливалась. Почти симпатично, когда б не лицо — будто из мятого картона и раздосадованное, словно Роза с трудом выносила происходящее. Ее муж шел прямо, с сигаретой, тлеющей между пальцев. Курил он самокрутки.

А дело вот в чем:

Лизель не желала выходить из машины.

— Was ist los mit dem Kind? — осведомилась Роза Хуберман. Затем повторила: — Что такое с ребенком? — Сунулась в машину лицом и сказала: — Na, komm. Komm.

Переднее сиденье сложили. Коридор холодного света приглашал девочку выйти. Двигаться она не собиралась.

Снаружи сквозь протертый кружок Лизель видела пальцы высокого мужчины — они все еще держали самокрутку. С кончика остутился пепел, несколько раз взлетел и нырнул, пока не рассыпался на земле. Только минут через пятнадцать смогли выманить Лизель из машины. Это сделал высокий человек.

Спокойно.

Потом была калитка, за которую она уцепилась.

Она держалась за столбик и отказывалась войти, а слезы стайкой тащились у нее из глаз. На улице начали собираться люди, пока Роза Хуберман не обругала их и они не убрались восвояси.

Маркус Зусак

*** * * ПЕРЕВОД * * ***
ЗАЯВЛЕНИЯ РОЗЫ ХУБЕРМАН
— Чего вылупились, засранцы?

В конце концов Лизель Мемингер робко вошла в дом. За одну руку ее держал Ганс Хуберман. За другую — ее маленький чемодан. В этом чемодане под сложенным слоем одежды лежала маленькая черная книга, которую, как можно предположить, четырнадцатилетний могильщик из безымянного городка, наверное, разыскивал последние несколько часов. Представляю, как он говорит своему начальнику: «Клянусь, понятия не имею, куда она делась. Я везде искал. Везде!» Уверен, он никогда бы не заподозрил эту девочку, однако вот она — черная книга с серебряными словами, выведенными под самым потолком девочкиной одежды.

*** * * НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ * * ***
Двенадцатишаговое руководство
по успешному рытью могил.
Издано Баварской ассоциацией кладбищ

Первая добыча книжной воришки — начало впечатляющей карьеры.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В СВИНЮХУ

Да, впечатляющая карьера. Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть — первая книга украдена у снега, вторая — у огня. И не умолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было четырнадцать книг, но своей историей она считала главным образом десять. Из этих десяти шесть было краденых, одна возникла на кухонном столе, две сделал для нее потайной еврей, одну принес тихий, одетый в желтое вечер.

Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмель-штрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и «Майн кампф» Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или «Отрясательница слов»? Может, точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Мемингер на Химмель-штрассе и к искусству свинопшества.

Когда она появилась, с ее ладоней еще не сошли снежные укусы, а с пальцев — кровавый иней. Все в ней было какое-то недокормленное. Проволочные ножки. Руки как вешалки. На улыбку она была не скоро, но если та все же появлялась, была заморенная.

Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза — довольно опасные. Темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца, но знать наверное она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно. Ярлык, которого не могла понять.

*** * * СТРАННОЕ СЛОВО * * ***

Коммунист

Она не раз слышала его за последние несколько лет. «Коммунист».

Пансионы, набитые людьми, комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядело из сумрака. Носило пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там, едва разговор заходил об отце. Девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно, ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих, она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывало спросить ее, что значит слово, но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась.

Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают, но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем?

Зачем?

И то, что ответ был ей известен — пусть на самом простом уровне, — казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизель знала. Но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель не верила, что бросить ее — доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она — потерянный исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна.

Хуберманы жили в одном из домиков-коробок на Химмель-штрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе. Плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал — не *достаточной глубины*. В 1939-м беда невелика. Позже, в 42-м и 43-м — уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия.

Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая *неистовая* и такая обильная. Каждое второе слово было или Saumensch, или Saukerl, или Arschloch. Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. Sau, ясное дело, означает свинью. В случае Saumensch оно служит для того, чтобы уязвить, выбранить или просто унизить женщину. Saukerl (произносится «заукэрл») — это для мужчин. Arschloch можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть.

— Saumensch, du dreckiges! — орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну. — Грязная свинья! Почему не раздеваешься?

Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшала непроходя-

щая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии.

Лизель, разумеется, уже купалась — в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну — да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол тесной, как чулан, умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, сбивчивого сопения и потока Розиной брани.

— Отстань от нее. — В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. — Дай я.

Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрый.

— Умеешь сворачивать самокрутки? — спросил он Лизель — и следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман.

Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось.

*** * * НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ * * ***
О ГАНСЕ ХУБЕРМАНЕ

Любит курить.

Главное удовольствие от курения для него состоит в сворачивании самокруток.

По профессии он маляр, играет на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой, когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках Молькинга вроде «Кноллера».

На одной мировой войне он уже надул меня, но позже его отправят на вторую (такая извращенная награда), где он опять как-то сумеет со мной разминуться.

Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не-особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности — выше среднего. И все же как-то — уверен, вам встречались такие люди — он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был *вон там*. Не видный. Не важный и не особенно ценный.

Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Мемингер это не прошло незамеченным. (Человеческое дитя иногда гораздо пронзительнее до одури занудных взрослых.) Лизель обнаружила это сразу.

Как он держался.

Это его спокойствие.

Когда Ганс Хуберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра. Будто бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит.

*** * * НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ * * ***
О РОЗЕ ХУБЕРМАН

В ней пять футов и один дюйм росту,
она собирает каштановые с сединой пряди
упругих волос в узел.

В дополнение к Гансовым заработкам она
стирает и гладит для пяти зажиточных
семей Молькинга.

Готовит она ужасно.

И обладает уникальной способностью разозлить
едва ли не любого, с кем когда-либо встречалась.

Маркус Зусак

**Но она по правде любит Лизель Мемингер.
Просто выбрала странный способ это показывать.
Включая затрешины деревянной ложкой и слова,
чередующиеся с разной частотой.**

Когда Лизель, прожив на Химмель-штрассе две недели, наконец выкупалась, Роза стиснула ее в мощнейшем травмоопасном объятии. Едва не задушив девочку, она сказала:

— Saumensch, du dreckiges — и то, пора уж!

* * *

Через несколько месяцев они перестали быть господином и госпожой Хуберман. Обойдясь обычной пригоршней слов, Роза объяснила:

— Слушай-ка, Лизель, — теперь будешь называть меня Мамой! — Задумалась на миг. — Как ты звала свою настоящую мать?

Лизель тихо сказала:

— Auch Mama. Тоже мама.

— Ладно, я, значит, буду мама номер два. — Роза оглянулась на мужа. — И этого, там. — Казалось, она собирает слова в кулак, комкает их и швыряет через стол. — Этого свинуха, грязного борова — будешь звать его Папой, verstehst? Поняла?

— Да, — легко согласилась Лизель. В этом доме любили быстрые ответы.

— «Да, Мама», — поправила ее Мама. — Свинуха. Называй меня Мамой, когда со мной говоришь.

В этот миг Ганс Хуберман как раз закончил сворачивать самокрутку, лизнул край бумажки и заклеил. Поглядел на Лизель и подмигнул. Его она будет звать Папой без усилий.

ЖЕНЩИНА С УТЮЖНЫМ КУЛАКОМ

Те первые месяцы были, конечно, самыми трудными. Каждую ночь Лизель снились страшные сны.

Лицо брата.

Как он глядит в пол вагона.

Просыпаясь, она плыла в кровати, кричала, тонула в половодье простыней. Напротив у стены кровать брата, как лодка, дрейфовала в темноте. Лизель приходила в себя, и кровать медленно тонула — видимо, в полу. И в этом видении радости было немного, и обычно крики девочки стихали не сразу.

Пожалуй, единственное благо страшных снов было в том, что в комнату Лизель тогда приходил Ганс Хуберман, новый Папа — с утешением и любовью.

Он приходил каждую ночь и сидел с нею. Первые раз-другой просто приходил — другой человек, истреблявший ее одиночество. Через несколько ночей он прошептал:

— Ш-ш, я тут, все хорошо.

Через три недели он обнял ее. Доверие росло быстро, и причиной была прежде всего грубая сила нежности этого человека, его *здесьность*. С самого начала девочка знала, что он придет с полукрика и не покинет ее.

*** * * ОПРЕДЕЛЕНИЕ, НЕ НАЙДЕННОЕ * * *
В СЛОВАРЕ**

***Не-покидание* — проявление доверия и любви,
часто распознаваемое детьми.**

Ганс Хуберман, сонно щурясь, сидел на кровати, а Лизель плакала ему в майку и глубоко дышала им. Каждую ночь сразу после двух она снова засыпала под этот запах: смесь умерших сигарет, человеческой кожи и десятилетий краски. Поначалу она всасывала все это, затем вдыхала, пока не шла на дно сама. А наутро Ганс был в нескольких шагах от нее — скрючившись едва ли не пополам, спал на стуле. На вторую кровать никогда не ложился. Лизель выбиралась из постели и осторожно целовала его щеку, а он просыпался и улыбался ей.

В иные дни Папа просил ее вернуться в постель и минутку подождать, возвращался с аккордеоном и играл ей. Лизель садилась и мычала в такт, от возбуждения поджав озябшие пальцы на ногах. Прежде никто не дарил ей музыки. Она глупо сама себе ухмылялась, наблюдая, как рисуются линии на Папином лице, глядя в мягкий металл его глаз, — пока из кухни не доносились брань:

— **КОНЧАЙ ПИЛИКАТЬ, СВИНУХ!**

Папа играл еще немного.

Подмигивал девочке, и она неумело подмигивала в ответ.

Несколько раз, только чтобы чуть больше позлить Маму, он приносил инструмент на кухню и играл, пока все завтракали. Папин хлеб с джемом лежал недоеденным на тарелке, выгнувшись по форме откусов, а музыка смотрела Лизель прямо в лицо. Я знаю, это странно звучит, но так ей виделось. Папина правая рука бродила по клавишам цвета зубов. Левая тискала кнопки.